

ЮРИЙ УБОГИЙ

ОВРАГ

Редчайшее было событие, в одночасье изменившее жизнь огромной страны и всех в ней людей поголовно. Чем-то открытие памятника напоминало: сдёрнули покров и увидели ошалелого, с вывернутыми карманами человека.

Вот и мы зашли с сыном утром первого января 92-го года в ближайший большой магазин, новые просмотрели ценники, прошлись вдоль витрин, переглянулись, а потом и смеяться стали. Странная реакция, но, поозиравшись, поняли, что мы отнюдь не одиноки. Так откуда ж она? А от той простоты, с которой всех нас, весь народ то есть, оставили вдруг в дураках. Преду-преждали, конечно, о грядущем отпуске и росте цен, но не в десять же раз! Ну, что тут было делать? Конечно, посмеяться над собственной глупой доверчивостью. Хорошая на первый момент реакция. И еще оживление некоторое среди людей в магазине было заметно от резкой перемены к худшему. Пусть хуже, но зато по-другому. Обновление!

А ночью, куря сигарету, поймал себя на том, что дым подольше в груди задерживаю. И опять засмеялся — предел экономии, как будто это не табак, а травка какая-нибудь дорогая. Много потом эпизодов похожих случилось, и хорошо, что сначала посмеяться духу хватало, ну а потом, глядишь, и помрачнеть.

Шел в ту же пору по рынку и услышал: “Дед, махорки купи!” Впервые меня вот так, со стороны, дедом назвали. Продавал мужичок махорку не пачками, а стаканами из мешка, как бывало в детстве на поселковом нашем базарчике. И именно от этого на душе потеплело как-то. А потом вспомнился Василий Васильевич Розанов, который, живя в Сергиевом Посаде в 18-м году прошлого века и будучи страстным курильщиком, окурки у чайных и пивных собирал. И это тоже странно согрело. Типичная наша картина — как только очередной “обвал” социально-экономический, так перво-наперво с солью и куревом зарез. До сбора окурков у меня, правда, не дошло, но недокуренную сигарету несколько лет обратно в пачку засовывал. И в этом тоже была некая теплота из детства, собирали мы тогда окурки папирос и различали с первого взгляда, до мундштука бумажного докурено или еще с табачным остатком. Остаток бывал изредка большой, в половину, и назывался такой окурочек “богатым”.

* * *

Ранней весной того же года ехали с сыном на лыжах и увидели, что на дне нашего, близкого к дому, оврага колья, вешки, стало быть, расставлены-вбиты. Участок, значит, кто-то застолбил. Обсудили, опять посмеялись: “Клон-

дайк”-де, золотоискательство напоминает, а потом и посерьезнели, и помрачнели. Решили, что надо и себе участок застолбить, и сделали это вскорости. Странно было в землю, снегом покрытую, колья вколачивать. До хлопка в спине: к гладу и мору готовимся, что ли?

* * *

Недели через две иду в ранних сумерках по почти бесснежной уже земле и слышу сильные, эхо в овраге дающие, удары железа по железу. Пошел на звук и увидел мужика, стоящего на торце железной бочки и трубу железную в землю вбивающего. Ограду, выходит, вокруг своего застолбленного участка человек начал строить. И так это меня вдруг достало! Крайняя какая-то ощутилась в этом нужда, пепелищам и землянкам войны и первого послевоенья близкая. И сближение такое с временем раннего детства уже не согрело, а древний какой-то вызвало ужас.

* * *

Время и раньше было не из легких, а теперь наступило и совсем уж тяжкое, вот именно, что “овражное”. Руками своими, давно отнюдь не мозолистыми, надо было картошку свою насущную добывать, понимая ее как последнюю самую линию обороны. Тогда и пришлось на свою семью-команду посмотреть, насколько она боеспособна и как может показать себя в наступившей заварухе. Матушке моей к началу наших овражных работ было за семьдесят, и участвовать в них она никак уж не могла по возрасту и плохому очень зрению. Опыт же огородных работ имела громадный, почти всю, в сущности, жизнь. Живя с ней вдвоем, имели мы половину небольшого дома и двадцать соток земли. Работала она фармацевтом, и эта огородная добавка была ей трудна. Я помогал, конечно, по мере сил – картошку полон и окучивал, воду для полива носил из колонки метров за пятьсот. Ну и посадка-уборка само собой. Тяжелое это дело – большие огороды иметь. Так, помню, и говорили буквально: “Вот пойдут огороды, света белого не увидишь”. И как же она потом, у нас живя, тосковала по этой огородной каторге! Стоит, смотрит, как мы работаем, и, чувствую, плачет без слез. И если удавалось хоть что-нибудь сделать – счастлива была. Как-то сажали мы с ней рябину под окнами, и она вся сияла, потому что саженцы при закапывании поддерживать могла.

Успели мы сводить ее и в овраг, на наш участок. Долгое было шествие с ее возможностями и местностью, весьма пересеченной. И печальное, для нее, конечно. Жили-жили, работали-работали и вот в овраг какой-то идем, в котором надеемся подкормиться...

О происходящем в стране она меня почти не спрашивала. Мудрая была, догадывалась, что я ей немного объяснить смогу. Радио, однако, в своей комнате слушала постоянно. Как-то спросила: “Что ж, и Ленин теперь плохой?” – “Говорят, что так...” – “А что же дальше будет?” – “Будем надеяться, что лучше”. Вздохнула: “Пока солнце взойдет, роса очи выест...”

Жена Ирина работала психиатром в больнице, рядом с которой мы и жили. Острое отделение, все сложно, ответственно, напряженно. Особенно в “новые” времена трудно стало, наплыв больных увеличился резко. Раньше-то многие из них сторонились больницы, а теперь стали воспринимать ее, как некий островок спасения в опасном, обезумевшем прямо-таки мире. Казалось, местами поменялись психиатрическая больница и обычная, повседневная жизнь.

Работник Ирина поразительный, про таких именно говорят – в руках все горит. И умела она все огородные дела делать уж если не лучше, то во всяком случае быстрее нас всех.

Андрей, сын, работал хирургом в больнице “Скорой помощи”. Там тоже, конечно, работы резко прибавилось, а обеспечение лекарствами и всем остальным резко упало. Медсанбат, а не больница, так говорил. И с работы, особенно с дежурств суточных, возвращался чуть живой, с лицом серым, взглядом замученным.

А землю любил, с детства был у него на нашем огороде собственный маленький участок, и что-то он там растил самостоятельно. Теперь же главная тяжесть огородной работы на него и легла, все, что наибольшего мускульного усилия требует. Рюкзаки, например, едва подъемные, которыми картошку из оврага домой носили осенью.

Очень хорошо бывало вдвоем с ним какую-нибудь работу общую делать. Помню, привезли весной “КамАЗ” навоза, для ближайшего, у самого дома, участка, вот мы и перетаскивали его на носилках по густой, по шиколотку, грязи, разговаривая при этом о самом, что называется, “высоком”, метафизическом. И так хорошо, естественно как-то совпадал разговор этот и навоз. В одном они были рядом, только на разных концах.

Жена Андрея Елена учительствовала в школе. Тоже дело из самых трудных, особенно в то смутное, дикое время. И на земле, конечно, работала, если возможность и силы находились.

Внук Дмитрий пережил в овраге первое, по-моему, увлечение: девочкой с соседнего, через ручей, участка. Он за ней все бегал, а она от него все убегала со смехом. Классическая картина, хоть в пять лет, хоть в двадцать пять. Но ведь и работал он тоже, жуков колорадских собирал, называя это: “Ловить мерзавцев...”

У меня работа была легкая – редактором в издательстве “Золотая аллея”, да еще и с графиком рабочим свободным, почти надомная. Вот я, компенсируя хоть как-то эту легкость, побольше времени в овраге и проводил. Чудесно было одиноко поработать до заливающего глаза пота, а потом перекурить, сидя на берегу ручья. И писалось мне в ту пору, как никогда раньше – легко и свободно. Самые светлые вещи в те тяжкие, мрачные времена были написаны, словно бы наперекор, в противовес...

В пору овражных работ появился у нас и новый член большой нашей семьи – внучка Дарья. Трудней, конечно, стало, но ведь и легче! Помогала она, кроха эта, чудесным каким-то образом тягомотину всякую-разную переносить. В буквальном смысле помогала, самим своим существованием. Посмотришь на нее, на руках подержишь, и станет тебе пободрей и полегче.

Вот такая у нас была овражная команда. И отношения в ней, команде-семье, были тогда лучше, чем когда-либо раньше.

* * *

Удивительное совпадение: в начале наших овражных работ посетили нас два моих старых друга, люди очень разные и очень похожие в одном – в природном аскетизме натуры и образа жизни. Жизнь наступила совсем уж скудная, и они, друзья, как бы говорили мне: вот и хорошо, вот именно так жить и надо.

Один из них, Всеволод Катагощин, философом был, не по образованию, а по складу личности и ума. Лет тридцать мы с ним дружили и беседы философически-метафизические вели, каждый раз подолгу, по несколько часов кряду. И все хотелось поглубже, еще поглубже уйти, как хочется еще рюмку выпить, хотя пили всегда один лишь чай. И предел хмеля этого метафизического в конце концов обозначался – все, дальше некуда, хватит. Даже чувство, похожее на похмелье, бывало, когда беседа заканчивалась, неприязнь к подобным разговорам возникала и нежелание впредь их вести. Но проходило небольшое время, и вновь к ним тянуло, как пьяницу к вину. Что же за хмель это был, да и теперь бывает, хоть и гораздо реже? Пожалуй, хмель свободы умственно-духовной, когда можно идти, куда только хочешь – дальше, глубже, выше...

Любопытно, что объективная оценка этой “глубины” и “высоты”, если бы она была возможна, существенного значения для меня бы и не имела. Главным и притягательным было субъективное ощущение свободного погружения в сущность вещей и явлений. Профессиональный философ оценил бы такое, возможно, как праздную болтовню, да и скорей всего. Эта мысль, кстати, мне и приходила, особенно с “похмелья” разговорного, и я был доволен, когда статьи моего друга появились в “Новом журнале” и в “Вестнике русского христианского движения”. Последняя его публикация, к великому сожалению, посмертная – “Проблема существования зла”.

Хорош был мой друг в своей рванине нищенской, настоящий философ-бродяга. Хотя, при всей бедности архивного работника, мог бы и вполне обычно одеваться, но такой уж у него стиль был, нравилось, наверное, нищим бродягой себя чувствовать. И быт в одинокой жизни был у него такой же. Хлеб-чернушка, похлебка чечевичная, капуста морская да чай. Квартира выглядела тоже вполне по-нищенски, не считая обилия книг. Похоже, судя по воспоминаниям современников, Николай Федоров, аскет-философ известный, жил. Такой образ жизни не только приобретенным, но и врожденным, вероятно, бывает, доставляя человеку некое особенное удовлетворение. Прочитал где-то, как жили вдвоем монахи-аскеты, расстались и потом один написал другому: “Помнишь, как мы наслаждались аскезой?” Рассказал об этом своему второму другу — писателю Владимиру Богатыреву, и он кивнул спокойно и согласно, потому что сам жизнью аскета жил, пришлось это понаблюдать. И радость, и удовлетворение от этого получал и получает. Минимальные потребности минимальную зависимость от мира иметь позволяют, свободу, насколько она вообще возможна. А большие потребности и большую зависимость налагают, прикованность к комфорту покупному. Заботу, неволю. Ту самую “золотую клетку”.

Писатель и по виду внешнему, и по образу жизни очень философа напоминал. И беседовать с ним было не менее интересно, но совсем иначе. Был он (да и есть, жив, слава Богу) немногословен и в немногословности своей очень емок и глубок. Скажет две-три фразы, и запомнишь их надолго. И очень конкретен, как чистый, истинный художник. Тут уж никакого метафизического “полета” не было и в помине, а лишь конкретность и образность. Спросил как-то его о здоровье и услышал в ответ: “Чем дальше, тем лучше. Как валун замшелый”. Гуляли с ним недалеко от нашего дома весной памятного 92-го, он посмотрел на наш овраг с участком застолбленным и сказал: “Ничего, выживем на неудобьях”. Угадал, на них мы тогда и выживали.

Правда, два исключения он в своем стиле жизни все-таки сделал. Одно — сортир во дворе своего дома в Орловской деревне Каменке, капитальнейший, чистейший: второе — письменный стол в квартире в Долгопрудном под Москвой, антикварный красавец, очень дорогой. Два таких просвета, отдушины в нищете и аскезе.

Во время его гощения у меня в Калуге гуляли по городу и он, завидев церковный купол, останавливался непременно, снимал шапку, крестился широко, размахисто и кланялся, заставляя прохожих недоуменно сторониться. На другой прогулке, за городом, присел вдруг на обочине перед какой-то железкой, начал ковыряться в ней. Оказалось, штучку какую-то блестящую отламывал, чтобы икону свою домашнюю приукрасить. Видел потом у него эту икону, всю окруженную стекляшками цветными, бусинками, фольгой... И с удивлением вдруг почувствовал, что это не смешно, не нелепо, а очень как раз хорошо. Вот прямо из-под ног, из жизни окружающей что-то подходящее найти и самое для тебя дорогое приукрасить. Спросил его однажды, как одинокую жизнь переносит? Ответил, не задумываясь: “С тех пор, как верю, не бываю один”. Вот признак веры истинной и дар ее великий... Или такое о нем: присел на краю горохового поля и ел созревший горох очень долго, а потом заявил: “Все, пообедал. Люблю подножный корм”. Нечто тут от жизни отцов-пустынников древних христианских есть, питавшихся акридами и диким медом. Прочитал где-то в его прозе рассуждение о склонности употреблять что-нибудь попроще. Именно о том, что если б у него был выбор между зубным порошком и пастой, то он выбрал бы порошок по причине именно простоты. Казалось бы, какие пустяки все это, но тут ведь и громадная, важнейшая, принципиальная развилка для всего человечества: или употреблять безудержно, или самоограничиваться. Первое опасно, а то и погубительно, второе благотворно-спасительно.

А прозаик он первоклассный, дебютировавший совсем молодым циклом очерков о родной своей Каменке в “Новом мире” Твардовского.

* * *

В овраге, с делами своими земледельческими, провели мы шесть лет. Чудесное было место — лужок у самого ручья в долинке такой уютной с крутыми, матерыми берегами. А сверху небо — все то же и все разное в разную

пору и погоду. Одну весну и начало лета рядом с нашим огородом даже утка дикая гнездилась, и утята вырастила, и улетела с ними в конце концов. И журавли каждый год летели и летели то на север, то на юг, огромными иногда треугольниками, вызывая в зависимости от направления то радость, то грусть. Мелких же птиц, трясогузок особенно, было великое множество, а однажды пролет гусей увидеть пришлось, таких мощно-неторопливых, темно-серых, огромных в низком своем полете. Царственный был у них и вид и полет. И слова Бориса Шергина вспомнились, которые он часто говаривал: “А дни, как гуси, пролетали”. Даже ондатру видел как-то в апреле, плыла к верховью ручья. Не было бы у нас многолетней овражной работы, то ни этого, ни многого другого не увидел бы и не узнал. . .

* * *

С древности и по наши дни существует понятие “гений места”. Некий дух, покровитель, хозяин тайный какой-то определенной местности, связывающий человека, душу его с местом обитания. Вот и у нашего околотка такой “гений” для меня есть, чувствуется – наш овраг. И еще точнее, излучина ручья в овраге с омутком и перекатом каменистым, с берегом крутым, почти обрывистым, с лужком аккуратным, ровным напротив. Даже камень большой, обтесанный вблизи лежит, в землю вросший, с вырубленной на нем неразборчивой, полустертой временем надписью.

Когда иду по этому месту по тропинке торной, то теплеет на душе. Энергетика особенная, подогрев некий, приятно бодрящий, из глубины земли словно бы идет. И красиво очень, сын в детстве много времени здесь проводил и один, и со мной, и с приятелями. Вон там, за ручьем, в кустах густых, штаб у них был, тайник, захоронка, как оно в такие годы и полагается. Вот у этого омутка он подолгу сиживал, водяных насекомых наблюдал, а то и ловил и приносил потом в дом. А на этом обрывчике песчаном ос выслеживал. Целый небольшой период в жизни был у него такой энтомологический, и я заодно кое-что в этом смысле почитывал и кое на что поглядывал. Отсюда, от детства сына идет, конечно, часть теплоты этого места овражного. А еще и история греет – именно сюда, в лесок за оврагом, Наполеон из Москвы шел к продовольственным нашим складам главным, там расположенным. Шел, да не дошел, не пустили. В сущности, в овраг наш не пустили, к гению места нашего.

Именно здесь, на обрывчике над ручьем, возвращаясь с Оки на велосипедах, остановились мы с внуком Дмитрием посидеть-отдохнуть. На четвертом курсе Смоленского мединститута он, кажется, был. Сидели, переговариваясь неспешно, и вдруг слышу: “Я хочу, как вы с папой, жить”. Проняло это меня, дорогого стоит такое признание.

А километрах в трех от этого места кладбище, где матушка лежит и мне лежать, конечно. Ну, там другой “гений”, деревня Тиньково о нескольких дворах, где главная святыня земли Калужской была обретена: икона Пресвятой Богородицы. Богородица написана с библией в руках, единственное такое ее изображение.

Думаю, что гений места у каждой местности, а значит, у каждого человека есть, если даже он о существовании этих гениев никогда ничего и не знал и не знает. Просто чувствуется – вот место легкое, милое, тянет сюда придти и быть подольше.

Если уж про “гения места” написал, то надо и дом наш помянуть, неподалеку стоящий: кирпичная восьмиквартирная двухэтажка, расположенная совершенно чудесно: с одной стороны город, подошедший уже вплотную, с другой овраг с ручьем, лесок, пруд, поле. И дальше лес и поле, поле и лес на многие километры. Сколько здесь живу, столько и судьбу благодарю за место такое прекрасное. У самого дома цветы, сирень, шиповник, жасмин, матерые березы, клены, липы, рябины, груши дикие, цветущие вот именно что с дикой, ошеломляющей прямо-таки силой. Да и плоды дающие в диком каком-то количестве. Виды из окон дома один другого лучше, особенно со второго этажа, где, прямо над нашей с женой квартирой, сын с семьей живет.

Не раз в центре города смотрел с грустью на ждущие сноса старинные дома. Тоже двухэтажные, толстостенные, с дырами дверей и окон. Заглянешь – господи, какое все маленькое внутри, комнатки, комнатки крохотные. Пото-

му, наверное, что пустые, убитые уже. А какая жизнь радостная и мучительная шла, бурлила, кипела годы многие, столетия даже в этих комнатках, коридорчиках, уголках! Шла да вся и вышла, только стены помнят ее, да и они вот-вот исчезнут...

Наш дом стоит на земле полсотни лет, а мы живем в нем больше сорока. Часто, возвращаясь поздним вечером из Москвы домой, видел я, наконец, его горящие огни на фоне темного или звездного неба и думал-чувствовал с облегчением, что наконец-то из пустыни громадного города к людям, к жизни человеческого вышел. К дому своему!

В городе Тарусе есть художник, который много лет пишет картины с одним и тем же названием: "Домик, в котором ждут". Вариантов тут множество, чем он и пользуется. Картины маленькие, в ладонь, и покупают их очень охотно. Это можно было бы и заранее угадать – всем хочется иметь домик, в котором ждут, хотя бы на картинке. Уютный такой, с оконцами светящимися... А мне такую картинку и покупать нужды не было, меня всегда ждали и ждут – и дом, и родные в нем люди.

Дом был хорош и, главное, мил мне и снаружи и изнутри – моя крепость, моя хижина, моя берлога. За многие годы совместной жизни мы словно пропитались взаимно: он мной, а я им. И оторвать нас друг от друга было бы, как по живому резать. Два дома, в сущности, и было у меня в жизни – первый, детский и юношеский, в Тиму, в поселке районном на Курщине, и вот этот, точно уж последний, на окраине Калуги. Между ними многократно и очень по-разному было просто жилье, крыша над головой...

* * *

Пять соток целины поднять нелегко и времени на это уходит довольно много. Копали чаще всего вдвоем с Андреем. Неторопливо копали и так же, в лад работе, неторопливо разговаривали. Чудесно разговор при такой работе идет, словно под неким хмельком равномерного мускульного усилия. И откровенность, и задушевность бывает тогда совсем особенная, чистая, легкая.

Разговор часто в сторону воспоминаний уходит – и общих и у каждого отдельных. И в сторону родичей, близких и дальних. К предкам, в общем-то, поближе. Земля, наверное, которая была перед глазами и перед лопатой, к этому склоняла, в одном они были рядом – род, родина, земля родная... Недавно, кстати. Андрей по интернету вышел на Центр генеалогических исследований и нашел там в ревизских сказках за 1756 год пять носителей редчайшей нашей фамилии, казаков разных куреней (полков то есть). Все из Войска Запорожского, переселенного потом Екатериной Второй на Кубань, откуда и отец мой, и дед, и прадед. Глубокий какой корень нашелся – 250 лет! И так это меня порадовало, будто я награду некую вдруг получил...

Было в нашем овраге и кое-что, напоминавшее мне крохотную курскую деревушку Красный Камыш, в которой мы с матушкой провели всю войну. Ручей, очень похожий на речонку Тим, у которой мы жили, близкий, рукой подать, горизонт там и здесь, небо низкое, как крыша над головой. Потому, может, он и вспоминался мне часто, тот мой Камыш, когда я в нашем овраге одиноко работал. Самые давние это были воспоминания, самые первые.

Копаясь, режешь лопатой луговину, густо, плотно затравленную, с сочным, влажным хрустом, словно по живому режешь. Да оно и есть по живому, как же еще? Зелень молоденькой травки в черноту вывернутой наизнанку земли превращаешь. А вот и ручей совсем рядом, можно остановиться, выпрямиться, спину размять, вздохнуть глубоко, постоять... И вдруг почувствовать, что тебя далеко-далеко, в рай какой-то перенесли: кочки в прозрачной воде, шелковистость травы под босыми ногами, солнце, слепящее не только сверху, но и снизу, одиночество, но не тревожное, а спокойное, надежное. Словно ты и один, но и под присмотром чьим-то. Не материнским, не людским вообще, а иным совсем. Ты и растворен в окружающем, но и отделен от него, одновременно как-то... Может, это первым шевелением Бога в душе было, думаю я, очнувшись? Лишь в чувстве, без понимания всякого, без слов...

Продолжаю копать и слышу треск мотора, резкий, напряженный, злой даже какой-то. А это мотоплуг неподалеку запустили, и мужик-сосед идет за

ним, пошатываясь, делянку свою, очень большую, распахивает третий уже день. И опять в Камыш уход: трактор колесный на дороге, гул его мотора, кольца синего дымка над трубой. Вот надвинулся вплотную, подавив меня и все окружающее грохотом, колесами громадными, зубастыми, протыкающими дорогу, вонью удушливой. Хочется убежать, но стыдно. И утешает-упокаивает, что человек живой на этом чудище сидит, весь черный, масляно-блестящий, с лицом тоже черным, но улыбающимся. Натик, говорили тогда, Натик! Такое, значит, имя было ему, трактору, на человеческое похожее, свойское: Толик, Валик...

Самое сладкое в работе – покурить на берегу ручья, глядя на воду, на водоросли, как зеленые волосы под ветром, на водомерок, танцующих в заводи вечный свой вальс. Чиркнул зажигалкой, а сразу за ней возникают, проявляются вдруг могучие мужицкие руки. В одной синеватый камень, кремь, прижатый к нему жгут серой ваты, трут, в другой светлая прямоугольная железка, кресало. Удар, удар, удар кресалом о кремь – и сыплются искры, крупные, яркие, на трут падают, и он начинает дымиться понемногу. Мужик дует осторожно, и в вате трута растет, рыжеет все ярче огонь. И что-то важное, торжественное чувствуется во всем этом: только что не было огня, и вот он есть, из камня и железа получился на моих глазах...

Кресало было первым металлом, железом, которое запомнилось. А вторым немецкая ложка-вилка оказалась, складная, на заклепке. Белая, блестящая, из нержавейки, как потом узнал. Крутить ее в руках, складывать-раскладывать было любопытно, но есть ею я не мог никак. Думал, ею же немец, враг заклятый, ел! Казалось, что след губ его на ней все еще сохранился. Удивительно, что ложка-вилка эта до сих пор цела, семьдесят почти лет! В ящике со всяким мелким железным хламом лежит, нет-нет в руки и попадет. Возьмешь и на мгновение оцепенеешь. Одна из старейших вещей в доме, “из той зимы, из той избы...” А того раньше из какого-то неведомого окопа, блиндажа. Крупновская сталь... Не раз выбросить хотел и оставлял все-таки. Она ж не только немецкая, она ж и наша. Трофей...

Последний раз я был в Камыше человеком более чем зрелым. И он принял меня с тем вечным спокойствием, с которым всегда принимает нас родина, ничего от нас не ожидая и не требуя. Хочешь, люби ее, хочешь, нет. Это твое дело, а она, вот она, просто есть. И какая в этом сила, великодушие и доброта. И какая для нас свобода!

* * *

Первый год был нелегко не только вскапыванием целины, но и сильной засухой весной и в начале лета. Поливать пришлось картошку ведрами из ручья. Жутковато было видеть, как пар из горячей, пересушенной земли поднимается, и неведомые жуки-пауки, сколопендры-саламандры какие-то из нее вылезают.

А вообще было прекрасно: копать-сажать, полоть-окучивать, урожай убирать. Опустить руки в землю, как в воду нежно-теплую, достанешь картофелину огромную, овальную, розоватую, и лежит она на ладони, как драгоценность, только что добытая-найденная. Странно и трогательно эта наша картошка называлась: “детскосельская”. Можно, конечно, догадаться, что в Детском Селе под Ленинградом, Санкт-Петербургом теперь, сорт этот вывели, но и это ведь приятно. Другие сорта тоже назывались неплохо: “кристалл”, “лорх” и самый распространенный, какой-то народно-простецкий, не вполне как бы и сортовой – “синеглазка”. Очень мило, как про сестренку или подружку. А цветение картошки! Бело-сине-сиренево-розовое полотнище ситца громадное лежит перед тобой. И скромное, и роскошное, одновременно как-то. Отдельный же цветок изящен и утончен и даже вдруг ювелирное что-то в себе показывает. И понятным становится, почему когда-то дамы при французском дворе такими цветками платья и шляпки свои украшали. Полюбуешься на все это да и вспомнишь картошку послевоенья, когда была она в наших курских местах не вторым хлебом, а первым. Так и говорилось: на картошке сидим, картошкой живем. И памятник ей я прямо-таки вижу: ладонь, а на ней та самая, “детскосельская”, картофелина, как дар Божий, спасительный. Одна из моих любимых картин, кстати, “Едоки картофеля” Ван-

Гога. Сидят эти едоки за столом, лица некрасивы, уродливы почти, но такой в них во всех свет ангельской доброты и любви. И протягивает один из едоков своей соседке картофелину так, словно это не еда самая простецкая, бедняцкая, а прекрасный цветок...

* * *

Посадили картошку, и началось строительство заборов. Я сомневался, что они нужны, но когда у соседей выкопали только что посаженную картошку, сомнения кончились. Смешно это было и горько и даже страшновато: такое сделать! Подобного даже после войны не припоминалось...

На колючую проволоку вдруг возник великий спрос, бухтами небольшими, аккуратными ее стали продавать на рынке и очень дорого. А мы от ограды базы военной, бывшей неподалеку, огромную бухту колючки ржавой, свое уже отслужившей, утащили. Прилаживаемся нести, а тут мужик с карабином на плече подходит и овчарка с ним. Стоит, смотрит, молчит. Внук пятилетний ему и крикнул: "А ты чего здесь делаешь?". Тот ответил не сразу и странно как-то: "Песни пою". И ушел. Молодец, ведь мог бы и покричать, и прогнать нас хотя бы для развлечения. Может, и сам себе участок для картошки выгородил где-нибудь на пустыре с такой же колючкой...

Разбирал я эту бухту громадную очень долго. Казалось бы, нет занятия неприятнее, а ведь привык, едва ли не полюбил его. Да и вообще, все свои физические, ручные работы в жизни вспоминая, думаю, что со всякой можно сродниться, какой-то интерес в ней найти. Ну, почти со всякой, так скажем. Войти в нее, работу, надо, и вот изнутри-то она окажется и полегче, и поинтереснее, чем если со стороны только ее видеть. И это утешительно. Говорят же, что даже раб галерный, в конце концов, начинает любить свое весло.

После мороки с колючкой надо было заготавливать для забора столбы. Часть оврага неподалеку была густо заросшей осиною, березой и ольхой, и вот тут-то и началась великая порубка. Крупные деревья не трогали, конечно, а те, что потоньше, так и затрещали под нашим топором и многими-многими соседскими. Неловко, стыдновато было это делать, но успокаивало одно – необходимость крайняя. Ради картошки насущной это творили всем миром, и если был тут грех, то невеликий, простительный. А потом, с годами, оказалось, что порубка только на пользу оврагу пошла: была урема сырая, темная, местами непролазная, а стало место светлое, просторное, веселое. Только пеньки во множестве торчали, да и те потихоньку заросли кустарником и высокой травой.

В конце концов, выстроились заборы вокруг тридцати примерно участков, в чем-то разные, но в главном одинаковые вполне – в виде нищенском. Оставалось ждать роста картошки и появления злодеев – воров.

* * *

Когда увидел большой довольно-таки по площади кусок выдернутой и чуть только подвявшей картофельной ботвы и множество маленьких, с орех, клубеньков, то испытал редчайшее, считанное число раз в жизни бывавшее чувство – ярость! И желание поймать того, кто все это сделал, и побить беспощадно. Когда же волна, распирающая грудь и голову, схлынула, удивился на самого себя. Ну, подергали ботву, ну, сколько-то картофелин мелких сумели найти и унести, пустяк же сущий! Откуда же реакция такая, инфарктная прямо-таки? Много чего за жизнь долую у меня воровали – деньги, часы, велосипеды, но никогда ничего похожего я не испытывал. Весь убыток-то теперешний в медный грош! И понял тут же, что теперь плод работы прямой, потной украден, вот именно поэтому так и повлияло. Сложная очень была реакция – что-то и детски наивное было в ней, и что-то мудрое, из старины глубокой. Некое первичное преступление было совершено по отношению ко мне – был забор, граница, мною обозначенная, а кто-то взял да и преступил ее...

Прикопал я выдернутую ботву, всю покрытую по краям белыми горошинами, да только не прижилась она.

* * *

Вот и стали мы овраг свой, участки свои драгоценные сторожить по очереди, по графику такому устному. Днем это женщины делали, а по ночам мужики. Брели термос с чаем покрепче, чуть-чуть еды, фонарь сильный, дальнобойный, палки в роли оружия. Много таких объединений огородно-картофельных в городе и вокруг него образовалось, и чего только в них не бывало. Там вышку наблюдательную построили, там вора избили крепко, там подстрелили даже. И в СМИ не раз обсуждалось, как с ворами этими быть, насколько силу к ним применять можно?

В первый раз на караул шли с чувством, похожим на то, с которым новые ценники в универсаме увидели — и смешно, и дико. Ухмылялись, посмеивались с сыном, переглядываясь. Дожили, приехали! Идем в овраг с дубьем картошку свою кровную сторожить-защищать. Потом попривыкли и напоминали друг другу вполне обыденно — наша смена завтра, не забыть. . .

В начале лета пришлось мне в Москву съездить, и я с некоторым даже удовлетворением увидел, насколько мы в своем картофельно-огородном деле не одиноки: вся полоса отчуждения вдоль железной дороги раскопана была. И успокоился окончательно — конечно, выживем и даже вороватых своих сограждан подкормим.

* * *

Людей в овраге оказалось много, и кое с кем познакомиться и даже подружиться пришлось. Ничто так не сближает, как общее, постоянное, на годы многие, дело. То сдача или прием караула, то отдых-перекур совместный, то нужда в совете земледельцев более опытных, чем ты сам.

Ближайшими соседями были Анна Ивановна, “баба Аня”, как мы ее между собой называли, и муж ее Николай Иванович. Пенсионеры, в больших уже, по сравнению с нами, годах. Он всю жизнь газопроводы “тянул”, а она на стройках штукатуром-маляром работала. Изредка дочь их появлялась с мальчиком лет пяти, явно стеснявшаяся родительского занятия.

Баба Аня поражала живостью нрава и работоспособностью, совершенно неумной. Как возьмется за лопату или тяпку, так и не разгибается и час и два. Посмотришь в очередной раз на нее, отдыхая, и не верится, что можно в ее годы так работать, с энергией такой и напором. И выражение лица на этой нашей овражной работе, если случалось сойтись и словом перекинуться, бывало у нее удивительное — не усталость, не озабоченность, а какой-то свет и радость потаенная. Оказалось, что и родители, и деды-бабки у нее “вечные крестьяне”, как она выразилась, были, и она, всю жизнь работая на стройках, всю жизнь мечтала до земли “дорваться”. Ну, вот и дорвалась, наконец, в нашем овраге. “Тут мне рай” — ее слова.

Муж ее Николай Иванович был человеком крутого, тугого замеса и телесно, и душевно. Говорил веско и медленно, часто употреблял, как присловье: “Поймите меня правильно”. И ясно так представлялась его работа мастером на прокладке газопровода, тяжкая и грубая, мат-перемат кругом и вдруг объяснение какое-нибудь и оправдание перед появившимся начальством. Вот тут-то его фраза и была хороша: “Поймите меня правильно”. И въелась на всю жизнь, которой оставалось ему уже и немного. Умер на четвертый, кажется, год нашей овражной работы. “На ходу, — рассказывала баба Аня. — На ходу!” В ту пору смерть “на ходу” стала чаще встречаться, так мне казалось. Вот и второй сосед с участка над нами, полковник-врач в отставке, тоже на ходу умер. Копался я как-то у себя ранней весной, вижу, сошлись в стороне баба Аня и жена полковника. И вдруг крик громкий горестный и баба Аня за голову обеими руками держится. Новость узнала — умер полковник на днях. А какой был здоровяк по виду, какие ступеньки от ручья наверх к себе аккуратно вырубил, как ведра с водой носил на участок неторопливо и солидно. И легко, казалось. . .

* * *

Сразу за участком бабы Ани вдруг пара молодая появилась с ребенком, мальчиком лет двух. Поздновато они пришли, уже и трава была подросшая, и участок им остался совсем крохотный. Приятная, интеллигентная была пара, и работали они с какой-то особенной тщательностью, слой дерна, например, срезали и, стряхнув землю, в сторонку откладывали, рыхлили вскопанное, как грядки лишь рыхлят. По инструкции книжной действовали, скорей всего.

Грустно было их видеть – ну, что они надеялись собрать с такого клочка? Два мешка картошки в лучшем случае? Тревога, что ли, их сюда привела, тревога о том, что, глядишь, вообще есть нечего будет? Приходили они ненадолго, но часто, и я стал постепенно замечать, как им здесь хорошо. Работают себе дружно и неторопливо, а сын по травке бегаёт или рядом толчется-мешает. А потом сидят в тени березовой на подстилке синей и перекусывают, и смеются, и с сыном играют-дурачатся. На следующий год они не появились, и я подумал: а вдруг эти месяцы с мая по сентябрь в нашем овраге у ручья окажутся лучшим временем их жизни? И очень может быть...

* * *

Мужик, забивавший ранней весной железные столбы, стоя на бочке, тоже оказался соседом. Пенсионер Степаныч, еще вполне крепкий, всю жизнь отрубивший на турбинном нашем заводе слесарем-инструментальщиком. Корневой такой работяга, на которых многое у нас в стране держалось. Он и дом сам себе построил, один из первых на нашей окраине. Мы брали у него тачки при необходимости – одна оказалась музейной прямо-таки: вся как из железа целиком вылитая, несокрушимая, на одном колесе. Из первых пятилеток, из лагерей, из войны... Вторая самоделка, платформочка жестяная на велосипедных колесах. Может, у него и третья была для третьей какой-нибудь надобности.

Настоящим мужиком этот Степаныч оказался, спокойно-приветливым, надежным, прочным. Думалось, глядя на него, что уж он-то всегда выживет, да и другим поможет. А счастливым я его видел, когда он траву, в ближнем леске накошенную, на своей тележке-платформе домой вез, а рядом внучка лет семи шла. Сказал, улыбаясь: “Помощница!”.

Запомнился вечер знакомства с ним. Сидели с приятелями у костерка (ночь дежурства впереди была) и пригласили его к нам по-соседски. Тут я и затеял, не вовремя как-то, дерево небольшое на краю своего участка срубить. Смотрю, Андрей подходит. Оказалось, что Степаныч ему сказал: “Помоги отцу!”. Посмеялись, а чего, собственно, было смеяться? Хорошо сказал для первого знакомства.

* * *

В начале нашего оврага есть пруд, в котором мы лет двадцать купались, пока не стал он постепенно очень уж грязным. Любил я после купанья на плотине посидеть, глядя, как пацаны с высокой ограды водостока в воду прыгают, и сам с каждым в воображении прыгал то так, то эдак. И казалось, что вечно мог бы вот так сидеть и не надоело б. Есть занятия и состояния, которые привкус вечности имеют, вот это и было одно из них.

Сразу за плотиной много никем не занятого места осталось, потому чтолюдно и в смысле воровства и всяческой порухи опасно. И вдруг место оказалось занятым – вагончик жилой там поставили, надо же! Сложное ведь дело – грузить его на платформу краном, везти, сгружать, тоже краном. Весь подъезд к участку колесами тяжелых машин был размят, разбит. Серьезный человек укрепляется, подумал я, и с намерениями серьезными. Оказалось, пациентка психиатрической больницы, лежащая в ней периодически по поводу депрессий. Средних лет, крупная, сильная, мужеподобная. Огородила участок, самый из всех большой, посадила садик, раскопала землю под огород и стала в вагончике постоянно жить с апреля по октябрь год за годом. Сад подрастал, огород процветал. Мне, проходящему часто мимо, предлагала по-

рой то огурцов, то кабачков. В больницу за все овражные годы не попала ни разу.

Иду как-то летом к плотине и вдруг по глазам ударило – вагончик сгорел. Каркас железный остался да кое-где куски жести черной, покоробленной на огне. Сожгли, конечно. Хозяйка рядом что-то делает, и подойти к ней у меня духу не хватило.

Немного поуспокоившись, вспомнил из Гете: “Меня не трогает крах царств и падение тронов. Пожар крестьянского двора – вот истинная трагедия”.

Нередко нечто подобное приходилось видеть и в советские времена и, гораздо чаще, после них. Словно бес какой-то людей толкает: разломать, разбить, изуродовать, сжечь... И без малейшего, пусть даже негативного, смысла. Только бы погубить или испоганить. С детства помнятся кучи дерьма на торных тропинках и собственное недоумение – чего ж было в сторону не сделать хоть шага три?

А хозяйка слепила шалашик в стороне от пожарища, убрала осенью урожай и больше здесь уже не появилась.

* * *

Картошку окучиваю в палящий полуденный зной. Если земля, как сейчас, слежавшаяся, убитая, то нет, пожалуй, труднее огородной работы. Даже ряд тридцатиметровый примерно сразу не пройти, приходится постоять на половине. Весь мокрый, конечно, глаза пот разъедает, во рту горечь полынная. Но я, странно, люблю эту работу и именно в зной. Все мне тут мило – и усилие, и терпение, и усталость, и звон в ушах, и предвкушение скорого отдыха. Ну, вот этот рядок добыю – и перекур в тени, у ручья, у воды.

Во время перекура наплывает вдруг давнее-давнее, и похожее, и иное совсем.

...Склон желтый, пологий, уходит куда-то вдаль, теряется в туманце знойном, серо-голубом. Щетка стерни блестит скользко, под ногами шуршит, проминается, укалывает лодыжки. Пахнет разогретой на жаре пылью, соломой и чуть-чуть хлебом.

Мы колоски в мешочки собираем. Нас много, по склону рассыпанных, бредем и бредем вверх, наклоняясь и выпрямляясь снова и снова. Глаза ловят колоски, а руки вперед тянутся, хватают их и хватают, и нет этому конца. Колоски шершавые, колючие, упругие. В упругости их есть что-то живое, кажется, выпрыгнуть из горсти могут, как кузнечики.

Сначала работается легко, играючи, но потом становится все тяжелее. Жарко, голова тяжелеет, пот глаза ест, ладони горят и саднят. Мешочек наполняется медленно, а уминается с обидной, разочаровывающей быстротой – нажал сверху, и будто нет в нем почти ничего...

Помочь надо, сказали нам перед выходом в поле. Стране помочь, которой трудно. Это приятно было услышать, некую особенную значительность делу нашему, такому простому, придало. Стране помочь... А что это, страна? Все люди наши и вся наша земля. Значит, сами себе и помогаем, вроде бы так.

С приходом утомления и, особенно, жажды чувство значительности нашего занятия тает и исчезает. Такие эти колоски маленькие и так их набралось мало, что уже и невозможно связать их со словами “наша страна”, “наша земля”. И какое-то далекое, как укол, чувство жалости к чему-то, к кому-то возникает вдруг. К себе, что ли, ко всем нам, по склону ползущим, к самой нашей стране?..

* * *

Метрах в трехстах от нашего участка проходит железнодорожная ветка, к месту тех самых продовольственных складов, к которым Наполеон в 12-м году рвался, покинув Москву. В насыпи тоннель для пропуска ручья, очень внушительный. Особенно гранитные блоки, которыми выложены торцы тоннеля,

поражают своей величиной и мощью. Сколько ни ходишь мимо, а непременно на них взгляд остановишь каждый раз. И что-то говорят тебе эти блоки, что-то успокаивающее, заставляющее замедлить торопливый свой шаг. Высотой тоннель метров в шесть и в пределах досягаемости человеческой руки исписан густо. Слова из времени нашего детства из трех и пяти букв не встречаются уже, а жаль. Было в них для нас что-то греховно-священное, потому их и писали, а теперь так они обыденно затерты, что и писать их незачем. А вот о том, кто кого любит, надписей много, и это радует. Есть, стало быть, еще горячее для продолжения жизни.

Тоннель в жару прохладен, в непогоду уютен, и случается постоять в нем, подумать о чем-то. Ни о чем, а значит, обо всем сразу.

Живое местечко – тут и альпинисты начинающие костыли в зазоры между торцовых блоков каменных вбивают и на тросах потом болтаются, тут и туристы соревнования проводят, бегают по бревнам через ручей или на тех же тросах через него переползают; тут и парашютисты, тоже начинающие, конечно, бегут с насыпи вниз сломя голову и подлетают совсем немного на парашюте-крыле... И, конечно, всякие любопытные случаи бывают.

Иду как-то со своей картофельной работы и вижу на лужке у самого тоннеля множество детей детского возраста и двух женщин, воспитательниц, стало быть. Надо же, думаю, как далеко зашли, самим, наверное, в такую чудесную погоду прогуляться захотелось. И тут же другое вижу – утка с утятами маленькими совсем плывет по ручью против течения мне навстречу. Утят, как сейчас помню, девять было. Утка меня увидела и к берегу под нависающую над водой траву повернула и спряталась там с утятами. Рядом со мной пережат каменистый, бурливый, неужели, думаю, она с крохами такими преодолеть его хочет? Ну, и стал за куст, жду. Вижу, и воспитательницы меня заметили, смотрят, переговариваются, смеются. Про утку-то с утятами они не знают и недоумевают, конечно, чего это мужик стал за куст и стоит?

Утка, наконец, выплыла из-под травы и к пережатию, а утята за ней. И так они лихо вслед за мамашей его преодолели, меж камней юрко пробираясь по струям сильным, бурлящим, что я в полный восторг пришел. Прохожу потом мимо воспитательниц и одна из них спрашивает с улыбкой: “Что это вы там высматривали?” – “Утка с утятами проплывала”, – говорю. “Ой, и нам бы посмотреть!” И побежали они с детьми вверх по ручью, только ничего, наверное, не увидели...

Вспоминал я этот случай с грустью какой-то прощальной, как ни странно. С грустью, потому что ничего подобного теперь не может быть никак. Ужас перед педофилами накрыл не только страну, но, кажется, и весь мир. Тут уж и гулять так далеко с детьми не уйдешь, и с мужиком, за кустом прятавшимся, приветливо не заговоришь. Тут полицию сразу вызывать надо.

Всю жизнь я с детьми и ближними, дворовыми, и иными-разными общался любил, имел такую слабость. И они меня отнюдь не чурались, особенно когда бороду белую завел. Что-то дед-морозовское во мне их, похоже, привлекало. Сiju недавно в нашем скверике ближнем и чувствую вдруг чирканье по спине раз и другой. А это девчушка лет пяти каким-то хлыстиком со мной забавляется. Станный такой хлыстик, покупной, что ли? Спросил ее об этом, она начала отвечать, и вдруг такой ужас в глазах у нее плеснулся! Запнулась на полуслове, и бежать во все лопатки. Все ясно: наказания родителей вспомнила... Да я теперь, если даже ребенок и подойдет, и заговорит, тут же его, что называется, “отшиваю”.

Помню, в пору оврага еще подсели ко мне на лавочку в том же скверике маленький, спокойно-важный толстячок с девчушкой. И так хорошо мы посидели, поговорили “за жизнь”. Теперь уж так не посидеть...

* * *

Кроме земли, помогала выживать и живность всякая-разная. С того же 92-го года начались по ночам петушиньи крики – и на нашей окраине и, рассказывали, даже в центре города. У нас петухи кричали дружным хором, по часам, как в настоящей деревне. Да что там наши петухи – в Обнинске, безупречно ухоженной городе науки, возникли кое-где на месте уличных газонов загончики такие аккуратнейшие, с оградками изящными, художествен-

ной почти выделки. А внутри куры во множестве. И так все это выглядело приятно и мило, что можно б было и оставить навсегда. . .

Появились у нас и коровы. Пасли их чаще женщины интеллигентного вида. У каждой пастушки две-три коровы, крупных, выхоленных, с большими выменами. Тоже было мило: коровы едят важно так и значительно, а пастушки на раскладных стульчиках сидят, вяжут или книжки читают. Посмотришь и подумаешь – при таких живых заводиках по переработке травы в молоко чего же и не прожить. . .

Надежда Мандельштам, жена поэта, вспоминала, что в поисках возможности хоть как-то прокормиться была у них “идея коровы”. Поселиться они с этой целью хотели как раз в наших краях, в Малоярославце, но как-то не получилось. И Пришвин вспоминал, что в первую же ночь с женщиной, на которой он потом женился и многие годы прожил, они решили завести корову. А через несколько лет и завели, поселившись в Сергиевом Посаде. И молоко продавали на рынке. . .

Чаще всего пасли коз, и главной козопаской была у нас Зинаида Семеновна, бывшая больничная санитарка со стажем чуть ли не в полвека. Был у нее и самый большой участок, наполовину засаженный свеклой для коз. А их было не пересчитать. От совсем малых до матерых с выменами коровьей почти величины. Жила она одна в собственном домике, и там тоже был участок земли немалый, безупречно всегда ухоженный. И стадо она пасла, и на земле работала с раннего утра до темноты с венами на ногах жуткими. Вот я и думал, зачем она каторгу такую себе устраивает, куда все это, наработанное, девать. Оказалось, в Харьков, дочери. Жила она с ней вдвоем, поживала, потом мужичок какой-то вдруг появился да дочь и увез. И осталась одна. И посылает теперь дочери с семейством самодельную тушенку из козлятины в банках стеклянных.

Шел как-то через поле над оврагом и увидел камень большой и привлекательный. Присел на корточках, осмотрел, пошатать попытался, прикидывая, нельзя ли его домой как-нибудь притащить? Вдруг козленок подбежал, другой, коза здоровенная. . . Оглянулся – Зинаида Семеновна со всем стадом. “Ой! – смутилась. – А я думаю, чтой-то мужчина нашел? Клад, что ли?” – “Да вот, – говорю, – камень красивый”. – “А зачем он?” – “Ну, как. . . Посмотреть приятно”. Помолчала она с явным недоумением. “А как же его до дома перететь? На носилках если или на тачке? Или, знаете, к сумке с колесиками приладить как-нибудь. . .” Хороший был совет, на сумке камень этот я и привез. . .

Как-то дежурили мы с Андреем, и сменить нас должна была Зинаида Семеновна, на дневной пост заступить. Ночь была с грозовым ливнем, и мы прятались под кузовом легковушки, специально для того приспособленным. Ранним утром смотрим, Зинаида Семеновна идет, часа на два раньше условленной пересменки. Объяснила, подойдя: “Дай, думаю, ребят отпущу, все равно сна нет”.

А потом вдруг не появилась по весне ни она, ни стадо ее великое: умерла от инсульта и тоже “на ходу”.

* * *

Сколько жизней людских девяностые годы унесли, и представить страшно. Потому, может, и думалось о смерти тогда часто – маячила она постоянно вокруг.

Кто не перебирал варианты ухода, всякий, наверное. А главных-то и немного, можно прикинуть. Во-первых, классически – в своей постели. Желание большинства, а в пору войн, революций, иных бедствий часто и мечта несбыточная. Противоположный вариант: смерть при напряжении сил максимальном – в бою, в схватке, в борьбе со стихией, с роковым стечением обстоятельств. Пушкинский вариант, ему желательный. Он так и писал: “в бою ли, в странствиях, в волнах. . .” И даже о смерти Грибоедова написал едва ли не с завистью, что она была “мгновенна и прекрасна, посреди смелого, неравного боя и не имела в себе ничего томительного”. А вариант “постельный” описывает он с некоторой насмешливой неприязнью, говоря о возможном конце жизни героя своего Ленского: “И умер в обществе детей, плаксивых баб и лекарей”. Сам же ушел по пути какому-то среднему – и схватка была, и пуля в живот, и двухсуточное потом страдание в постели.

Кажется, что желание смерти быстрой и легкой должно быть всеобщим, не желать же долгого и тяжкого умирания? А вот поэт Иннокентий Анненский тако-го и хотел, считая, что умереть быстро все равно, что уйти из ресторана не расплатившись. Умер же “на ходу”, на ступеньках Царскосельского вокзала. Народный взгляд на умирание близок взгляду Анненского — “смертное страда-ние” принять надо, очиститься им, грехи искупить, насколько возможно.

Теперь смерть в больнице, в реанимации очень часта. Оно и хорошо, оп-равдано практически, но уж очень казенно, холодно. Что последним человек увидит: медсестру, врача или потолка белизну безучастную? И кто последние его слова услышит-разберет? И кому их сказать?

Последних слов много у людей, которые на всеобщем виду жили, запо-нено и записано было. У Пушкина они просты и конкретны: “Дышать тяжело, давит...” Чехов бокал шампанского выпил, сказал по-немецки: “Я умираю...”, из вежливости, наверное, к немцу-врачу, и умер. А Толстой, писавший, как никто, глубоко и много о смерти, даже договорился с дочерью о знаке, кото-рый подаст ей, если говорить уже будет не способен. Знак о понимании смыс-ла жизни в самый последний перед смертью момент. Смыслом же он полагал приближение к Богу и увеличение любви. И вот если он именно так, уходя, продолжает считать, то опустит веки согласно, а если нет, то посмотрит вверх. Весь Толстой в этом поиске высшего смысла до самого-самого предела. На-счет знака о смысле жизни не знаю, а в последних словах: “любил много...” согласие с самим собой как раз и есть.

“Приближение к Богу...” Но ведь и в приближении к смерти или быстром, или медленном, или даже пережитом мгновенно, когда она проходит рядом и мимо, что-то высшее, вот именно божественное, ощущается. Не только ве-рующими, но, подсознательно, и всеми, скорей всего. Близость смерти и ужасает человека, но и приподнимает его над обыденностью жизни. В “Мо-царте и Сальери” пушкинском Моцарт играет для Сальери дважды. И оба ра-за музыка потрясает слушателя своей мощью, гармонией и красотой. И оба раза она о смерти. Из объяснения Моцарта к первой игре: “Я весел... Вдруг виденье гробовое, незапный мрак иль что-нибудь такое...” А в объяснении ко второй Моцарт говорит о том, что пишет “Реквием” и что заказал его ему “чер-ный” человек. И играет отрывок из этого “Реквиема”. Сальери, который, ра-зумеется, знает музыку Моцарта прекрасно, чувствует именно в этих двух по-следних вещах вершину его, полного жизни и жизнелюбия, творчества. А они-то о смерти, о переходе жизни в смерть. И выходит, что смерть не только уход из жизни, но, одновременно, ее вершина. **З а в е р ш е н и е.**

И в литературе нечто похожее. Какие мощные, истинно боговдохновенные страницы именно умиранию героев посвящены! “Война и мир” Толстого, князь Андрей, тяжело раненный, глядящий в небо и готовый облегченно уйти в него, раствориться в нем. Анна Каренина под колесами поезда, свеча, вспыхнувшая в ее сознании, чтобы затрещать и навеки погаснуть. Герой тол-стовской же повести “Смерть Ивана Ильича” с его последним ощущением: “Вместо смерти был свет...” Или Григорий из “Тихого Дона”, который, похоронив Аксинью, поднял голову и увидел над собой “черное небо и ослепитель-но сияющий, черный диск солнца”. Предел трагизма и предел художествен-ной мощи при этом!

Смерть, уход, конец — и какая энергия жизни и творчества у художников, которые все это выражают. И парадокс, и доказательство, что жизнь и смерть связаны неразрывно некоей единой силой. Высшей, небесной, божественной.

А в те далекие девяностые при мыслях о смерти про бомжей иногда вспо-миналось в сильные морозы. Как они-то их перемогают, вымерзают, навер-ное, как воробы. И чудилось даже, что весной их становилось меньше...

* * *

Побывал в нашем овраге гость ночной, нежданный. Сидим у костерка, стражу отбываем, и вдруг со стороны поля и леса человек возникает, прибли-жается медленно и как-то зыбко. Наконец обозначился в свете костра: мужик как мужик, пристойного, городского вполне вида, но без обуви, в одних нос-ках. Вроде бы и не пьян, но какой-то очумелый, растерянный. И спрашива-ет, где центр города примерно? Показали, куда идти, и поинтересовались,

почему блуждает ночью босиком. Оказалось, приехал на пикник с компанией, прилег под кустом в сторонке подремать, а проснулся в темноте и одиночестве. Ну, и побрел на зарево городское, а потом на свет костра. Трудно будет ему до центра добрести, все ноги побьет. Самое же худшее он сам и высказал: “Не пойму, то ли не нашли меня, то ли просто забыли? И туфли кто снял?” Погрелся чуть у огня, да и побрел в темноту. И тема для размышления была у него такая, что до дома хватит...

Случился и еще один гость, совсем другого рода, и в пору он попал совершенно особенную. Решили мы с Андреем засеять осенью, после уборки урожая, весь наш участок озимой пшеницей, делал так кое-кто из соседей. Весной надо было дожидаться подросшей хорошенько “зеленки” и все вскопать, удобрив ею землю.

Сеял Андрей, беря горстями пшеницу из ведерка на груди и размашисто, как сеятель некий древний, ее перед собой полукругом разбрасывая. Даже рубаху к этому случаю красную, распоясав, с воротником на русский манер надел – хоть картину с него пиши.

Рассеянное зерно надо было землей прикрыть, и мы приспособили для этого железную трубу, длинную и тяжелую. Привязали к концам проволоку и стали неторопливо и аккуратно по участку ее взад-вперед таскать. Таскаем-таскаем и, смотрим, Григорий Фидлер, друг детства Андрея, с овчаркой на поводу к нам идет. Прекрасный парень, всегда ему симпатизировал: спокойный, добрый, скромный, как девушка, и силы совершенно непомерной, изумляющей. И ее он по славной своей натуре хорошо очень употреблял – восточными единоборствами занимался без прямого контакта с противником. Ушу, так, кажется. Там и философия целая в подоплеке, и учитель Лао-Цзы. Григорий же в советские времена инженером стал и на крупном заводе работал.

Поговорили, конечно, и оказалось, что он бизнес торговый завел и на днях в Италию улетает по делам. Беседуем, и вижу, обоим им как-то неловко: один по миру разъезжает, а другой в овраге железку какую-то по земле волочит. Очень уж сопоставление странное! Что ж, способы выживания всего-навсего, подумал я. Натура тут решает, обстоятельства, случай, судьба в конце концов...

Особенно ушедшие из разваливавшейся тогда армии офицеры меня удивляли, солидные такие майоры-подполковники отставные. Один рыбной ловлей занимался, как работой прибыльной, большой был этого дела любитель и знаток; другой веники березовые, банные во множестве заготавливал и перекупщиком из Москвы продавал; третий шампиньоны выращивал, тоже в основном для Москвы. И думалось иногда, что, может, эти занятия им службы армейской оказались милее да и прибыльнее, как знать?

* * *

Страна заборов... Особенно тогда, в 90-е, это в глаза стало бросаться. Из чего только их не городили: куски жести, пластика, отходы штамповки, рабица ржавая, даже подносы общепитовские древние... А один большой участок был сплошь кроватными сетками и спинками огорожен, и видеть такое было тревожно, как нечто госпитальное, из войны, из беды. А другие заборы, не овражные, у бедных хилые, кособокие, у богатых несокрушимые, до неба почти? А ограды на кладбище вокруг могил? От кого и чего загораживаемся? Друг от друга? Да, конечно. А еще, может, подсознательно и от пространства своего бесконечного, которое словно бы угрожает нахлынуть вдруг, как потоп. Но оно же, пространство, не только угрожает, но и влечет, иначе б не дошли мы мало-помалу аж до Тихого океана...

Случился у меня в самое “заборное” время приступ радикулита. Очень не хотелось на диване лежать, а хотелось столбы, вокруг участка уже поставленные, ошкуривать. Сделали анестезию, я и пошел в овраг радостно и пробыл там на ногах часа три. Утром проснулся, а левая стопа отвисает – парез. Так он до конца и не исчез, напоминает о битвах за выживание давности двадцатилетней.

И еще воспоминание “заборное”. Копал ямы под столбы, а рядом старый друг, мудрый собеседник Всеволод Катагощин стоял-наблюдал. Хорошо очень было: денек серенький, смирный, приятная, неспешная работа, прият-

ный, неспешный разговор. Суть его хорошо помню: как оценить смерть под забором? Ужасна ли она (как, в общем-то, предполагается) или, может, не так и плоха? И решили дружно, что не только не ужасна, а чуть ли не хороша. Долгим и очень уж мучительным такое умирание быть не должно, да к тому же под небом, а не под потолком. И сейчас вот вдруг вспомнилось, что самый первый в жизни рассказ я написал на близкую этому разговору тему: о том, как лесник уходит самовольно из больницы, чтобы на воле помереть...

Еще очень славно было привозить из леса на лыжах столбы для ближнего, у самого дома, участка. Засунешь топорик за ремень, побегаешь, сколько хочешь, по лесу, а потом столб и вырубил из подходящей сухостоины. И на плечо его, и вперед. А лучше всего было столбы эти, за зиму накопленные, в палисаднике ошкуривать на мартовском пригревающем солнце: синь неба плотная, блеск солнечный, горьковатый запах коры и древесины...

Вижу теперь, что и заборы наши и стража были, в общем-то, условностью, знаком таким для потенциальных воров: да, огорожено, да, охраняют. Но если нужно, то в темное время бери дырн, продырявливай потихоньку забор любой в любом почти месте и забирай, что хочешь. Ну, даже и забрал, так не от хорошей же жизни, а по горькой нужде. Точно такое же суждение по телевизору от ветерана войны как-то услышал. Вернулся он из госпиталя домой и увидел, что комната его в коммуналке открыта и из нее вынесено все, что можно было вынести. Сказал он это, помолчал и добавил: “А я и не осуждаю, крайность у людей была. Ну, и взяли, ну и что ж...”

А картошка все самые трудные годы была на рынке удивительно дешевая. Потому, конечно, что все почти ее и выращивали. Даже Ельцин сказал как-то, что обязательно два мешка картошки каждый год для пропитания семьи сажают. Соврал скорей всего, но кого-то, может, и подбодрил — не робейте, мужики, я с вами...

* * *

Приехал в Москву, когда на нее вдруг упал сильнейший, под 30°, мороз. Люди оказались одеты не по погоде, бегут по улице растерянно-испуганные. Надо было дорогу спросить, но, вижу, всем не до вопросов. Наконец, подошел к тетке, продававшей с лотка какие-то газетки, журнальчики тоненькие, жалкие. Она съезжилась, нахохлилась, ногой об ногу стучит, лицо угрюмое, посиневшее. А когда к ней обратился, в лице у нее такое вдруг вспыхнуло участие, такая готовность помочь, такая доброта, что на меня словно бы теплом пахнуло и даже согрело на мгновение.

Очень мы все мрачны в последние, многие и многие уже, годы, недоступно-озабочены, словно пылью какой-то безнадежно-безрадостной покрыты. А вот так обратишься к человеку, по виду мрачному, даже злому, и он меняется неожиданно на нечто прямо противоположное. Тяготеют люди своей угрюмостью одинокой и готовы по первому поводу ее отбросить. Отбросить-то на малое время можно, а вот чтобы преодолеть, изжить, нужно время большое. Жизнь, в сущности, нужно изменить...

А еще стоял как-то в нерешительности: то ли вниз по скользкой, крутой, льдистой тропинке рискнуть спуститься, то ли в обход пойти? А внизу передо мной два мужика, хмельноватых, похоже, остановились, ждут, что делать будут. И я, по детскому какому-то позыву не оплошать перед зрителями, к крутизне и шагнул. Тут один из мужиков, толстяк краснолицый, и крикнул вдруг: “Стой, дед! Костей не соберешь!” Ну, я и послушался с чувством облегчения и в обход пошел. И до сих пор того мужика с благодарностью помню. Порыв его, невольный словно бы какой-то. Такой мужик в подобном порыве и ребенка из-под колес, рискуя собой, выхватить может. Для Шопенгауэра, смотревшего на натуру людскую весьма мрачно, есть в ней нечто несомненно светлое и доброе: “первичный моральный импульс”. Он, похоже, у того мужика и сработал. А второй мужик, хорошо запомнил, лишь с любопытством на меня смотрел, ожидая потехи. Вот по такому признаку люди тоже делятся — есть ли способность к “импульсу” этому или нет. Помогут или мимо пройдут.

Ну, это все моменты, случаи, а бывает, что идет от человека сильный, ровный, негасимый свет и тепло. Такой у нас продавщица в ближайшем маленьком продуктовом магазинчике была в “овражную” нашу пору. Тамара Ива-

новна. Только, бывало, и слышишь ее имя – и когда к ней люди обращаются или даже между собой говорят. Средних лет, небольшая, плотная, круглолицая, сероглазая. Равномерно, постоянно приветливая со всеми. И не то чтобы улыбочивая, нет, скорее сдержанная даже. Вот от нее-то этот свет и это тепло и шли и всех людей вокруг согревали, словно фара некая таинственная у нее внутри была.

Всегда в этом магазинчике народ толпился, хотя рядом, в двух буквально шагах другой, точно такой же по набору товара был. К ней шли, к Тамаре Ивановне. Словом перекинуться, посмотреть на нее, погреться. Кое-кто из женщин даже ожидал терпеливо, когда очередь иссякнет, чтобы лишним словом с ней без помехи перекинуться. Смотрел я на все это и думал – психотерапия настоящая! Впору деньги ей, Тамаре Ивановне, по медицинскому ведомству платить. И немалые.

Когда же ушла она с этой работы, то и количество людей тут же в магазине резко уменьшилось. Не к кому стало ходить.

Встретил ее недавно, и оказалось, что живет она по-прежнему с мужем и двумя сыновьями и больше всего боится, что дом ее частный снесут и дадут вместо него квартиру. Кошек и собак держать будет негде, и деть их некуда. На вопрос же, зачем ей такая их орава, ответила, что натащили бездомных и увечных. Узнали, что берет, и тащат. Отказать же не может, хоть и клянет себя за это...

Свет не без добрых людей... Приятная вроде бы пословица, успокаивающая. А думаешься, то и не по себе станет. Не без добрых... Стало быть, встречаются, как редкость, как исключение. Вдруг и встретится добрый человек, если повезет тебе очень...

Кажется, что в новые времена доброты в людях меньше стало, но это вряд ли. Не меняются глубинные свойства человеческие так быстро. А вот что проявлять ее, доброту, люди сдержаннее стали, словно бояться в ответ оплеуху получить, это истинно так. Тут уже и отвага некоторая нужна – и самому доброе сделать, и на чужую доброту понадеяться.

Оказались мы с матушкой лет шестьдесят назад в Курске по пути домой. Машины из-за долгих дождей и непролазной грязи не шли, и мы простояли на выходе из города целый день в тщетной надежде уехать. Начало темнеть, и матушка вдруг повела меня к маленькому домику рядом – проситься переночевать. Там оказалась девчонка, чуть меня постарше, и разрешила посидеть, подождать прихода своей матери. И я, клевавший на табуретке у двери носом, скоро и на кровать был уложен и заснул. Проснулся под разговор матушки с вернувшейся хозяйкой, которая говорила, что она кондукторша на трамвае, а муж ее в тюрьме, но скоро выйдет. Я послушал немного и заснул уже до утра.

Поведение матушки, по теперешним понятиям недопустимое, наглое даже, объяснялось просто. Она сама была человеком доброты безразмерной и от других, естественно, ожидала того же. И ошибалась редко. Излучение добра, исходившее от нее, имело такую силу, что и они теплели и добрели прямо на глазах...

* * *

Чего только в те родненькие девяностые не приходилось делать – мешки тяжеленные женщинам и старикам помогать носить-возить, пьяных или “паленкой” отравленных мужиков со снега или раскаленного морозом асфальта в места потеплее перетаскивать, в заварухи пьяные вмешиваться... Много плохого, а то и ужасного было, но вдруг случалось и хорошее.

Попал я тогда в милицию, и зачитывает мне старший лейтенант протокол наутро. Мелькнули там и слова: “оказал сопротивление”. Я как-то и внимания на это не обратил, собираюсь подписывать и вдруг слышу: “Мужик, ты что? Это ж тюрьма!” Глянул – напротив открытой в коридор двери сержант на рундуке каком-то сидит, он, стало быть, и крикнул. Рывкнул на него лейтенант злобно, он и исчез. И так на душе вдруг потеплело: тот самый “первичный моральный импульс”, о котором я уже упоминал, у человека сработал. Не все потеряно, пока он цел...

Бывало и забавное, как не бывать. Подходит как-то бабенка лет под тридцать, вида пропойного и говорит: “Лапуль, дай рубль, не хватает...” Да я бы

ей и десятку дал за такое слово! Никогда меня так трогательно-тепло не называли и уже не назовут...

Бомжи тогда были очень тяжелы, которые и до нашего дома, до подъезда дабирались. Зайдешь, а человек лежит на лестничной площадке в углу, калачиком свернувшись. Пульс нормальный, запах понятный, бомжовский с самогонной добавкой. Вот что с таким делать? В квартиру тащить?

А тяжелее всего было видеть старушек с лицами учительниц начальных классов, которые в мусорных бачках копались. Вот их я никак не мог власти тогдашней простить. И не простил.

* * *

Эти шесть лет в овраге вспоминаются теперь как целая маленькая жизнь. Лучшее время – посадка картошки, пожалуй. Совпадало оно с майскими праздниками, вот люди по-праздничному и настраивались: одежонка поярче и поновей, музыка то здесь, то там, выпивка-закуска в конце работы. Помню, копаюсь один на участке после вчерашнего праздничного застолья и слышу крик: “Дед, иди пива выпей!”. Смотрю, на бугорке через ручей мужик-сосед дальний сидит, знакомый лишь по виду. И что-то меня остановило: то ли слово “дед”, не вполне еще привычное, то ли тон снисходительный, хоть и приветливый. Ну, и отозвался: “Спасибо, нет!” Тут же и пожалел, но поздно было. А потом даже и вспоминал этот случай с чувством пусть и мельчайшей, но все-таки потери.

У Твардовского, кстати, есть нечто похожее в очерке “Память первого дня”. Идет он по полевой дороге в самый канун войны и видит на обочине, в тенечке старика, сидящего перед четвертинкой и скудной закуской. Поздоровался с ним, а тот и говорит: “Садись, поднесу”. Отказался, а потом, в войну, вспоминал это с сожалением, будто не только от чарки отказался, а от многого еще дорогого и невозвратимого. Мы же от участка своего в овраге отказались в конце концов, и теперь вспоминается он как нечто близкое и дорогое. А вот насчет невозвратимости жалеть, наверное, не надо, да и не гарантирована она, эта невозвратимость. Для сына и внуков во всяком случае...

* * *

Вспоминаешь “время оврага” и, параллельно как-то, вся жизнь вспоминается кусками-кусочками произвольно совершенно, из глубины некоей темной вдруг выплывая и в нее же уходя. Хаос воспоминательный, но есть в нем и тайный, лишь порой едва различаемый строй и лад. Ход жизни самой на родине твоей, большой и малой.

Впервые чувство родины шевельнулось во мне лет в десять по пути в Пятигорск и обратно. Горы утром появились за вагонным окном – они выступали прямо из ровной-ровной земли громадами одинокими, одна, вторая... Каждая подолгу держалась в окне, будто двигалась, плыла рядом с нами едва заметно.

Матушка сказала, что это уже родина отца за окном, здесь где-то, неподалеку, он родился, в казачьей станице. И я вдруг то ли от ее слов, то ли от внутренней какой-то, подсознательной перемены в душе почувствовал, что и степь, и горы мне милы, что они мне тоже родные, что я неким чудом уже бывал здесь когда-то. И с тех пор по дороге на юг всегда то же самое чувствовал.

А потом, на обратном пути, было утро в наших уже, курских местах. Оно было мгlistым, дождливым и печальным до тоски. Холмистые поля, пологие косогоры плыли-разворачивались за окном, и так они были пустынные и так скудные! Черные, грязные дороги вились вдоль хода поезда, телеги с тощими лошаденками едва-едва тащились по ним, стаи ворон и грачей летели низко и неохотно невесть куда. Деревеньки с избами хилыми, скособоченными, крытыми серой соломой, появлялись и исчезали, и возникали вновь, и начинало казаться, что одна и та же деревня идет и идет по кругу без конца... После всего яркого, праздничного, сказочного, что я видел в Пятигорске, это было таким скудным, таким жалким и таким родным. Именно в то утро чувств-

во родины пронзительно укололо меня больно и сладко. Уж сколько раз я его испытывал потом в разных ситуациях, но суть оставалась та же, первая – сладкая, щемящая боль. Об этом же, буквально об этом у Блока через много лет прочитал: “...твои мне песни ветровые, как слезы первые любви”. Может, и слезы были, да я их не заметил или решил, что соринка попала в глаз...

А вот и еще о том же. Сходили с Андреем в мой родной Камыш (он впервые), постояли у могилы деда, немцем во дворе собственного дома заколотого, и возвращаемся домой, в Тим, где мое детство прошло и кусочек Андреева тоже. По пути перекусываем в тени лесозащитной полосы, да и засыпаем.

Сон тут, на родной земле, совсем особенный, напоминающий полет с закрытыми глазами. Оттуда, где хорошо, туда, где еще лучше. Летишь, но как-то и остаешься на месте, слыша шорох листы на ветру, птичий писк и щебет, стрекот кузнечиков и, кажется, мерный, спокойный, роевой гул земли под ухом. И тело продолжаешь ощущать, но уже как что-то далекое, не вполне и твое – с толчками сердца в землю, с шумом крови в ушах, с бегом букашки по ноге. И мысли мелькают – короткие, редкие и тоже не вполне твои, а с кем-то другим общие. А может быть, это и не сон даже, и не дрема глубокая, а просто покой? Тот самый, который все ищут и никак не находят? Но тогда почему он именно здесь ко мне приходит? Родина потому что вокруг и сын рядом? Наверное, так...

Это состояние сна-покоя или покоя-сна хочется длить и длить бесконечно, но оно неудержимо уходит, редеет, пропуская в себя все больше четкой реальности – далекий, напряженный зуд мотора, коровье мычание, хлопок пастушьего кнута. А вот звук совсем близкий – Андрей уже сидит с покрасневшей, примятой щекой и с хрустом ест яблоко...

Солнце клонится к закату, зной смягчается, и идти еще приятней, чем раньше. Тянет ускорять и ускорять шаг, но я и себя, и Андрея придерживаю. Как недавно хотелось пробыть в покое-сне подольше, так и теперь хочется идти и идти без конца по полевой нашей дороге. Она так легка, что уже и не понятно, мы ли по ней идем, она ли нас на себе несет все ближе к Тиму.

Первые его очертания, наконец, вырастают впереди из степи. Именно отсюда я увидел их когда-то впервые, а теперь вот увидит и Андрей. Идем и идем, Тим растет-подрастает, но я молчу. Пусть сам заметит как можно позже, впечатление будет сильней. Весь день, а сейчас особенно, у меня такое чувство, словно я некое наследство ему передаю.

Андрей замедляет шаг, косится на меня вопросительно, и я киваю: да, Тим. Приостанавливаемся, молчим, смотрим. Я ощущаю непривычную, редкостную силу и ясность своего взгляда и вдруг понимаю, что он как бы удвоен сейчас...

* * *

Хорошо помню погреб детства с его лазом узеньким, ступеньками хилыми, дощатыми, норками мышинными в стенах, с чудесной прохладой в летнюю жару и могучим запахом земли. Главное же, выбраться из него и хотелось и нет, одновременно как-то. Вот и сидел, затаившись, а потом вдруг пугался словно бы, что так можно невзначай навсегда здесь остаться, и поспешно выбирался на волю, на солнце. И опять было двойственное чувство – и рад, что выбрался, и жаль чего-то.

Рядом с домом нашим была аптека, в которой работала матушка, и аптечный подвал. Тут было совсем иначе – пространства много, свод каменный высоко над головой, ящики с лекарствами. Что-то мощное, крепостное, древнее. Когда “Скупого рыцаря” пушкинского впервые читал, то представлялся мне живо тот подвал, аптечный. Вот в таком вполне могли б стоять сундуки с золотом.

Спросил однажды знакомого белорусского поэта, молоденького, хрупкого, бледного, как лето провел, очень в том году жаркое. Ответил, что в погребе сидел, стихи там писал. Оно и смешно, оно и понятно.

До постройки погреба картошку мы хранили в закроме под лестницей и в картофельной яме. Яму я выкопал в нашем саду и сделал это с удивившим меня самого наслаждением. А потом подумал, что это ведь всегда было, с детства раннего: ковырять землю железкой какой-нибудь, просто палкой, с песком, с грязью возиться. Бесмысленное, казалось бы, занятие, но смысл некий все-таки брезжил – притяжение земли, желание до чего-то тайного и нужного в ней докопаться.

Даже первые свои деньги на покупку часов я заработал лет в четырнадцать, копая траншею на кирпичном заводе. Копал одиноко и было мне хорошо: вот чернозема слой полуметровый, вот песок приятно-влажноватый, а вот и глина твердейшая, которую приходилось рубить уже ломом. Потом ямы бесконечные пошли под посадку кустов и деревьев, а потом могилу для матушки обустроить случилось. И как ни горька была эта работа, но ведь чем-то и утешительна. Вот именно, что осознанием ясным общности человеческой судьбы: все в нее ляжем, в землю. И хорошо бы не в какую-нибудь, а в эту вот, свою. Недаром некоторые люди, долгие годы на чужбине прожившие, хотя в старости на родину вернуться. Для той же, наверное, цели...

Недавно узнал, что закапыванием в землю невроты лечат. Душу лечат, говоря пошире и попроще. Рюют нечто вроде могилки мелкой, желающий полечиться укладывается в нее и его землей засыпают, вставив трубку для дыхания. Время такого сеанса оговаривается заранее. Ну, и досрочно можно освободиться, знак “наверх” подав. Станный, жутковатый даже метод лечения, но ведь и резон какой-то в нем есть: полежи, подумай о жизни своей, о смерти своей неизбежной. Пустяки житейские от важного отдели толком. Предварительные итоги подведи. Многое там, в земле, может с душой человеческой случится. И плохого, и хорошего, целебного.

Погреб мы сделали за два примерно летних месяца – как песню спели. Работали втроем, мы с Андреем и сосед Виталий, прекрасный человек и работник умелый.

Обстоятельства нам благоприятствовали, словно кто-то говорил со стороны или сверху: давайте, давайте, мужики, нужное дело делаете. Рядом завод, начавший строиться и вскоре заброшенный, был, и мы оттуда всю железную “снасть”, для погреба и погребки необходимую, притащили. Многие в округе так делали и правильно – не пропадать же добру брошенному.

Потом машина кирпича красного нам как с неба свалилась случайно и в самый подходящий момент. Горячий еще был кирпич, прямо из печи, сквозь рукавицы жар его чувствовался. А еще потом дверь для погребки появилась и тоже ко времени. Роскошная дверь, филенчатая, полированная, для начальственного кабинета была бы как раз. Долго не мог к ней привыкнуть, все казалось – не по чину честь.

Что ж, громадная империя рухнула, и обломки ее подбирали кто как мог. Вот и к нам во двор какие-то ее крохи случайно попали...

В студенческих стройотрядах Андрей работал каменщиком, и это теперь пригодилось. И погреб он кирпичом выложил, и стены погребки поставил. Хорошо вышло и стоит все до сих пор, как штык, ни трещинки нигде. Можно гордиться.

Кирпичные стены погреба обмазывали смолой, растопленной на костре. И так смола глубинно-черная бугрилась медлительно, тяжело и грозно, закипая, что делалось как-то не по себе. То штурм стен крепостных представлялся и вот такая же смола, на штурмующихся сверху льющаяся, то нечто совсем уж адское, на иконах, на лубочных картинках виденное. Даже дядюшка мой тимской Николай Панюков вспомнился. Встретив на улице своего начальника, с которым у него была долгая тяжба по поводу какой-то несправедливости, он говорил ему: “Котлы кипят!” Неплохо бы и сейчас эти слова на митингах выставлять для предостережения власть предержащим.

Очень тревожно, страшновато даже было, когда я в одиночестве (ребята мои отлучились куда-то) машину-бетонозовку встречал. Подъехала она, гро-

мадная, к краю погребка, стала “вертушку” медленно наклонять, я и оцепенел, и потом мгновенно покрылся. Хлынет, подумал, раствор на наш потолок погребной да его и проломит. Долго потом все это расхлебывать придется. Потолок, к счастью, выдержал, и чувство удовлетворения радостного вспыхнуло – хорошо сделали!

Да и во всей нашей стройке больше всего радости и было. И усилия потные были в радость, и отдых потом. Смеялись много, порой и до слез. Чай крепкий пили часто, и подавала нам его Ирина в окно, выходящее в палисадник с лавочкой. Прекрасные были чаепития, лучших, может, и не было никогда, а теперь уж и не будет...

* * *

Погреб и погребка, то есть сарай кирпичный над ним, получились такими большими, капитальными, что и не верилось – мы ли это все сделали, своими руками? И подумалось, что можно ведь и совершенно самостоятельно, автономно, если понадобится, выжить-прожить. Земли в овраге и вокруг сколько хочешь, “буржуйку” можно смастерить, дрова рядом в лесу и воду добыть можно. Прожили же матушка с тетушкой и мной, сопливим, всю войну в маленькой курской деревушке на полном самообеспечении! В мысли этой было что-то успокаивающее, гордое даже, но что-то и горчило, саднило, побаливало. Вот именно, что за державу обидно было – неужели и до этого докатимся?

Есть у Толстого в “Войне и мире” мысль, что победила Наполеона прежде всего не армия, а та русская барыня, которая, сказав, что она Бонапарту не слуга, взяла да из Москвы и уехала. Вот и тогда, в начале девяностых, прожили-выжили и потому, что всем миром на землю вышли с лопатами на плечах. Или, как написал мне друг детства Генка из-под Ленинграда – наперевес...

Вспоминаются эти тяжкие, в общем-то, годы с удивительной теплотой. Все вторичное, наносное, мелкотщеславное отодвинуто, отброшено было главным – продержаться, устоять. И отношения людские в моем пространстве наблюдения улучшились, потеплели. Семья сплотилась, соседи сдвинулись потесней. Все словно бы чувствовали подсознательно, что выживать надо не только поодиночке, но и всем миром. Чем-то это время первое послевоенное напоминало: ценностью, резко возросшей, хлеба насущного, одежды, товары обывденной, рабочего усилия потного, прямого. Весоностью слова доброго, приветливого и, самое, может, главное, надеждой. Верили, что еще немного, еще чуть-чуть и полегче станет. Продержимся, “перетерпим, перетрем”, как у Твардовского в “Василии Теркине” сказано.

А еще у того же Твардовского есть строчки о мечтах юности перед отъездом из дома в “большую” жизнь. О многом с другом мечтали, в частности “и о том, в каких мы брюках домой зайвимся п о т о м”. А я в свое время мечтал о велосипеде, а внук уже о машине, что каждый и получил в конце концов. Вот что тут было, в мечтах этих, ярче и важнее? Брюки, конечно. И оценка внутренняя, сокровенная богатства, бедности, нищеты даже громадный имеет разброс, до парадоксальности. Написал же Мандельштам: “В могучей бедности, в роскошной нищете живи, спокоен и утешен”. Напоминает чем-то Франциска Ассизского: “Бедные, алмазы божьи”.

Вообще, заметно было в лихие девяностые, что те, кто пережил войну и первое послевоенное, были как-то спокойнее. Знали, чувствовали по опыту, что жизнь, она всегда жизнь. В самой сути, в самой основе своей близкая, сходная и в бедности, и в богатстве. Не было бы только совсем уж грубого, мучительного голода-холода, но и тут варианты существуют. Помню рассказ покойного приятеля, замечательного художника Петра Петровича Козьмина о том, как он лежал на животе в болоте поздней осенью и вдруг счастье непонятное ощутил – а это, оказывается, минометы немецкие замолчали...

Улучшение жизни постепенное я заметил в повседневности по уменьшению количества съедаемого хлеба. И почти жаль его стало, как старинного, главнейшего друга детства и молодости. Мое поколение институты кончало на бесplatном хлебе в студенческих столовых. Всегда можно было плотно поесть за две чайные копейки: сначала хлеба с горчицей, потом хлеба с чаем слад-

чайшим (сахар сыпался в стакан собственноручно). А если на три-четыре стакана раскошелиться, то можно было из столовой уйти, пошатываясь от сытости. Хлеб чаще всего бывал "орловский", серый такой и совершенно чудесный.

* * *

Что-то уж слишком благостным у меня все получается. Почти одни радости, а где же растерянность, страх, тоска, ужас даже порой – куда нас несет неудержимо и чем все это кончится?

Писал, как вспоминалось, а вспоминалось в основном именно хорошее, как оно, в общем-то, и быть должно. У памяти хороший вкус, есть такая поговорка. Да и тогда, в овраге, к тому, что получше, душа поворачивалась, чтобы выжить, уцелеть. Плохое перетерпываем, перемогаем, а за хорошее держимся, стоим на нем. На любви, коротко говоря. К миру, к людям, к самому себе в конце концов. Сказано: "Возлюби ближнего, как самого себя". Вот и сделай так, с себя начиная, все на свои законные места и станет. Понятно, что каждый грош приходилось тогда считать, а подойдет к тебе на улице мужичок замученный и так посмотрит, что и отдашь ему этот грош. И станет тебе самому полегче.

Кстати, тогда я чаще давал, чем теперь, хотя о грошах речь уже, в общем-то, давно не идет. Забогател, видно, зачерствел. По пословице: мозолистая рука таровата, а мягкая неподатлива. Вот мозолей-то у меня теперь уже и нет. Да и меньше их гораздо стало, просящих, и отношение к ним изменилось. Недавно высыпал мелочь в ладонь мужику раза в два меня моложе и слышу: "Вы кому же это даете?" Строго так, начальственно. Посмотрел – приличный господин, за дверцу хорошей машины держится, готовясь садиться. Развел я руками почти виновато – и он по-своему прав был, конечно.

А еще неловко как-то казалось о своих трудностях-горестях писать, потому что очень многим пришлось гораздо, гораздо труднее. Чего уж тут со своими соваться? Вполне средними они были, всеми, кто честно свой кусок хлеба зарабатывал, переживались.

О делах же социально-политических ничего не написал, потому что совершенно к этому не способен. До тошноты и отчаяния при попытке. Есть люди, которым такое дано, они о переломных-костоломных девяностых годах писали и еще напишут. Вот и дай им Бог получше написать и к правдистине поближе.

Лихие девяностые не то что научили, а напомнили хорошо знакомое с военно-послевоенных лет – жизнь, она всегда и всюду жизнь со всеми ее главными ценностями. И трудные времена эти главные ценности как раз и обнажают. В этом их благо великое.

Как-то услышал в троллейбусе: "Я муху свою берегу, что ты! Раз до девятого этажа долетела, пусть живет". Посмотрел – мужик пожилой, вида простецкого. Вот это ко всему живому любовь, позавидовать можно! Есть у Льва Толстого дневникова запись о том, что во всяком положении человек радости может найти, даже в тюремной одиночной камере: луч света, муха...

* * *

А что ж овраг? А овраг "пребывает вовеки", как и вся земля, по слову Экклезиаста. Пребывать-то пребывает, но и защищать его пришлось в конце девяностых. Объездную дорогу по нему проложить собрались впритык к нашей улице и рядом с больницей. Пришлось письмо протестное писать, подписи под ним собирать по ближнему народу и в пикете стоять утром у городской управы. Пикет был – мы с Андреем, внук Дмитрий и сосед Виталий. И плакатик мы держали такой жалкенский. Потом сочувствующие подошли, человека три-четыре, и девушка из городского радио. Постояли, постояли да и пошли восвояси.

А в овраге тем временем работа разворачивалась вовсю: технику пригнали, ручей начали спрямлять, землю овражную ворочать так и эдак. И вдруг все остановилось и исчезло – ни техники, ни людей. Остался на память лишь прямой, как стрела, кусок ручья и выровненное в этом месте, как стол, дно

оврага. Загадка для будущих жителей: откуда эта странная, не природная какая-то, ровность и прямизна?

Внезапное прекращение работ тоже осталось загадкой. Не пикет же наш подействовал — смешно и думать! А вот упоминание в письме об овражном пруде, периодически “уходящем” куда-то в землю, вполне могло подействовать. Карстовые явления, не шутка! Проверили да, глядишь, их и нашли. Как бы то ни было, но дорогу отодвинули метров на пятьсот в сторону, и овраг наш живет себе поживает по-прежнему. Только вот огородники из него ушли, осталась лишь баба Аня и сосед ее милиционер Вовка, как она его называет. Полицейский, по-теперешнему. Полезное соседство в смысле защиты от воров.

Бабу Аню встречаю время от времени в нашем околотке, останавливаемся словом перекинуться. И, кажется, что она почти не изменилась за эти годы многие. Вижу ее и в овраге во время прогулок, и работает она все так же, не разгибаясь. Понимаю, что не может такого быть, а вот есть же!

Иду недавно мимо нашего футбольного поля и слышу оклик дальний, зычный. А это баба Аня ко мне прямо через поле с играющими футболистами спешает.

— Что ж ты огурцы не взял? — кричит. — Я ж тебе и рисовала, где лежать будут!

— Так дождь же целый день был, — отвечаю виновато.

— Дождь, да... А, постой, постой!

Ставит сумки свои ветхие, возится в них суетливо.

— Ради бога, не надо!

— Ничего, возьмешь чесночка... Возьмешь, возьмешь!

И остаюсь я стоять с увесистым пучком чеснока в руках. Не едим мы его никогда, но ведь не откажешься! Баба Аня уходит торопливо, а я смотрю ей вслед так, будто старого боевого товарища этим взглядом провожаю...